Нина САДУР

ДОГАДКА О НАРОДЕ

О том, «черном», что по избам сидит и сегодня, «водку пьянствует», огород копает, ворует по мелочам и ни мыслей особых, ни чувств не имеет.
Всякий русский писатель мечтал о нем написать. И писались чудесные произведения, могучие — от «Мертвых душ» до «Соборян» и «Лета Господня». И мы гордимся ими, как свидетельствами жизни народной. Но ведь это совсем и не народная жизнь. Это уже о людях, пусть «маленьких», но выскочивших из бесформенной народной массы, — от мелких дворян до мещан, в лучшем случае «дворовых людей». Была попытка у Ивана Шмелева — «Житие одной бабы». И не получилось. Дотошного знания крестьянского быта оказалось мало. Там, где собственные переживания героев, — там не верится до раздражения и полного неприятия. Или противная пьеса Льва Толстого «Власть тьмы». Про мрак дикой, некультурной души, стремящейся к самоуничтожению.
Больше всех схватить хоть малую искру в понимании народа удалось Бунину в удивительных, в три строчки, рассказах типа «Журавли улетели».
Выходит, что в русской литературе нет произведения о народе. Может быть, один Андрей Платонов (не думая об этом) ближе всех подошел к пониманию невыразимой сущности народа, заговорив совсем особым языком.
Культурное ухо, слушающее корявую, куцую простонародную речь, страдает и невольно разукрашивает эту речь псевдонародными красотами, не в силах вынести голую грубую сущность этой речи. А может быть, народ только притворяется, что говорит на нашем «русском» языке, имитирует его, для общения с миром, может, отголоски истинной народной речи и уловил Платонов? Но и это только догадка.
Тем не менее народ, бередящий горячие гуманитарные головы, существовал ведь и существует на пространстве под названием Россия. И почему он не впускает в себя художника и не дается описанию? Возможен «физиологический» очерк о народе, но невозможен роман о нем.
Я помню, лет десять назад, в Малеевке: на пруду деревенские подростки и наши, писательские. В плавках и купальниках все были одинаково красивы, юные, и красивое молодое было лето кругом. Деревенские отличались грубоватыми повадками, открытыми, громкими голосами, а московские необъяснимой спесью, которую деревенские не могли не чувствовать. Но и тем и другим было по шестнадцать, и они все вместе от нас, от взрослых, отличались уже как отдельная раса (раса подростков, не подверженных социальным различиям, а связанных таинством юности). В воде они перепутались и нечаянно разыгрались все вместе...
А когда на берегу моя дочь Катя решила продолжить общение и подошла к этим красивым деревенским ребятам с выгоревшими волосами и бровями и с глубоким деревенским загаром, они вначале опустили головы на грудь, а потом дружно прыгнули с круглого мостика в пруд и уплыли в дальнюю заводь... Вот так же и народ. Он не хочет, чтоб к нему подходили, он замкнут в себе и своих тайн не выдаст. Катя тогда рассвирепела, сказала: «Ну нет, я их заставлю дружить!» Стала гоняться за деревенскими по всему пляжу, и все они, как русалы, прыгали в воду и уплывали в дальнюю заводь...
Грустно, мило и безысходно.
Все русофильские разговоры о народе бессмысленны и не нужны народу, как неправильные, а нужны самим русофилам для разогрева собственной культурной крови. Катя тогда сказала: «Мы от них отличаемся. Они даже не замечают, какое лето красивое, а мы замечаем. Потому что мы гости, а они слиты с летом, с этой природой, это для них не праздник, а вся жизнь. И они, конечно, знают что-то такое, что даже в словах не удосужатся выразить, поэтому они так спокойны к природе и лету».
Сегодняшний народ, даже отученный от работы на земле, связан только с землей (не с государством и набором соответствующих проблем), а с природной землей связан самой своей сущностью. Земля бессловесна. Культурный человек обговорил ее всю, как только мог. А народу не нужно слов, земля не говорит языком человека, и народ человеческий язык ужал до призрачной скудости, чтоб только-только хватало для общения с внешним миром. Ему даже лень изучать опасные ловушки внешнего мира, поэтому первый претендент на беду —это «черный», некультурный народ. Такая беззащитность перед угрозами внешнего мира кажется если не высокомерием, то еще чем-то. Есть люди государства, а есть вот этот самый народ, который законов государства не ведает, но зато и его законы закрыты от внешнего мира.
Не культивируя свои чувства, не обозначая их, он их проживает, как природа — времена года. От этого простому культурному человеку простой некультурный народ кажется грубым и косным и даже глупым. А непростой культурный, например, художник, зная, что это не так, наделяет народ своей собственной рефлексией, чтоб сократить этот ужас разрыва между собой и народом, задавить в себе страх: «Я умру, а он вечен».
Я думаю, что на самом деле русские писатели всегда боялись своего народа, и не потому, что народ их никогда не знал (глупо претендовать на это), а потому что они понимали, что никогда его не узнают, а это значит не узнать что-то о себе самом, не узнать ничего, населить свой мир лишь догадками и художественными вымыслами. Тогда как реальность, гладкая и неприступная, остается в стороне. В таком случае такого термина, как «реализм», просто не может быть. Тайной реализма владеет лишь народ. Но народ не владеет словом. Отказавшись от внешней приметности, живя свою скудную жизнь, он владеет тайной бессмертия, тогда как художник, самый яркий и самый гениальный, обречен рано или поздно исчезнуть. Это еще один повод ужасаться и завидовать собственному забитому и голодному народу.
А. Н. Островский, как и все великие русские писатели, ничего не знал о народе. Природа его дарования была радостной, а не трагичной (что редчайшая редкость в художественном мире), а масштаб дарования такой огромный, что он не мог не влезть в эту безнадежную историю: писать о народе.
Пока Аполлон Григорьев в отчаянии натягивал смазные сапоги  и  позорную  красную  рубаху,  мимоходом  брякнув бессмертную «Чибиряшечку», жизнелюбивый и радостный А. Н. Островский нашел в том же Замоскворечьи своего народного героя: купчину. Находка оказалась гениальной: неокультуренный и поддающийся исследованию. И еще вчера, ну позавчера был тем самым народом, что живет на земле. Островский решил не страдать и не мучиться народной загадкой. Он решил радоваться тому, что народ вообще существует, как существует лес, река, вся русская природа, вся жизнь. Как городской подросток безудержно радуется деревенскому лету и гоняется за деревенскими ребятами, чтоб дружить. Вся эта лавина островских пьес есть не что иное, как нескончаемое среднерусское лето, в котором городской мальчик гоняется за деревенскими, чтоб дружить. Но деревенские всегда ускользают.
При монотонности сюжетов, бесхитростной морали и однообразной роскоши языка, если уж сядешь сегодня за Островского, то и прочтешь все подряд. И не возникает мысли: зачем так много таких пьес? В том смысле, что они все живы до сих пор. Какая в них магия для сегодняшнего человека, не занимающегося специально театральным делом или творчеством Островского? Наше священное прошлое? Чепуха. Островский «намечтал» свой мир. И если что и совпадает с реальным нашим прошлым, то лишь бытовые описания. Какой-то особенный взгляд на вечные вопросы? (Ведь называли ж его русским Шекспиром.) Но вечные вопросы решаются по-детски просто: пороки наказаны, добродетель торжествует, злодеи раскаялись и все в конце — помирились! Да и не задается Островский особо вечными вопросами: всё какие-то интрижки, свадьбы, беготня, капиталы в железных ящиках, свахи, мелкие актеры да дурковатые купцы. Если уж «натуральная школа» радовалась, как похоже автор изображает социальные типы, то сегодня этих самых типов вроде бы и нет. Может быть, особая театральность пьес: роскошные роли для талантливых актеров, но сегодняшний театр концептуален, акцент делается не на актере, а на режиссерской концепции как шахматной партии.
Пьеса как жанр уязвимее прозы, время безжалостней к ней, потому что театр — живой организм и пьеса претендует, в отличие от неподвижной книги, на вечное движение. Так почему эти архаичные пьесы все живут и живут, не вызывая корыстной жажды «узнавать себя», как это принято у публики, особенно театральной? Живут совершенно своей пестрой и веселой жизнью, не заботясь о наших сегодняшних проблемах, а мы с необъяснимой жадностью впитываем их? Может, оттого, что мечта Островского о радостном народе столь необычна, что с ней никак невозможно расстаться нам сегодня. Особенно зная, как беспросветна, черна и страдательна всегда была жизнь народная, и сегодня тоже?
Хотя опять же, что мы знаем о жизни изначального «черного» народа, который ни нас, ни Островского знать не знает, которого так мучительно и тщетно изучают и жалеют всевозможные народники и русофилы?
А вдруг Островский ничего не намечтал и правду сказал? Что народ радостен, светел и счастлив, ибо так назначено ему и по-другому быть не может.